

КУЛЬТУРНЫЙ ПОВОРОТ В ИССЛЕДОВАНИЯХ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА

*Дмитрий Юрьевич Карасев**

Институт общественных наук Российской академии
народного хозяйства и государственной службы,
Москва, Россия

Цитирование: Карасев Д.Ю. (2017) Культурный поворот в исследованиях революции 1917 года. *Журнал социологии и социальной антропологии*, 20(4): 31–50. <https://doi.org/10.31119/jssa.2017.20.4.2>

Аннотация. Цель данной статьи — выявить истоки и сущность культурного поворота в исследованиях революции 1917 г. Первым его источником был культурный поворот в исследованиях Великой французской революции, связанный с именами Фюре и его последователей, а также рядом подходов постструктуралистского толка, на которые они опирались. Вторым источником стала ревизия социальных историков, которые доказали, что рядовые участники революции («массы») не были всего лишь объектом манипуляции большевиков (их конструктом для легитимации власти). У них были собственные смыслы, эмоции и опыт (пусть часто и выражаемые в новой революционной фразеологии), которые давали о себе знать особенно остро во время революционных кризисов.

В статье выделяются слабая и сильная программы культурного поворота. Слабая программа, которая выступает скорее развитием, чем ревизией социальной истории, рассматривает символическую борьбу как продолжение классово-борьбы, а культуру — как частично автономную. Особенности слабой программы выделены на основе анализа исследований Кoenker, Суни и др. Сильная программа культурного поворота представляет собой полноценную ревизию социальной истории и характерных для нее детерминизма и чересчур активной концепции агентности. Речь о «постматериальном подходе», постулирующем внутреннюю детерминированность «паути́н смысла». На примерах исследований Стейнберга, Горхама и фон Гелдерн выявлена связь сильной программы с подходами интерпретативной антропологии и структурной лингвистики. В исследовании революции 1917 г. начинают выходить на первый план проблемы феноменологической редукции, двойной герменевтики, деконструкции, создающие опасность чрезмерной «текстуализации» и распада исторического события на множество партикулярных смыслов в духе постмодернизма. В заключительной части статьи представлен анализ возможностей и ограничений сильной и слабой программ культурного поворота в исследованиях революции 1917 г.

Ключевые слова: русская революции 1917 г., культурный поворот, ревизионизм, история ментальностей, опыт, нарратив, интерпретация

* E-mail: dk89@mail.ru

Существует целый ряд работ, посвященных ревизиям в истории изучения русской революции (Uldricks 1975; Pipes 1993; Suny 1994; Fitzpatrick 2008a), некоторые из них сравнивают последние с 200-летней историей изучения Великой французской революции и ее ревизиями. Одних поражают сходства, других — различия. Р.Г. Суни считает, что господствующие интерпретации французской и русской революций движутся в противоположных направлениях: «в то время как “ревизионисты” в изучении французской революции сняли марксистскую ортодоксию (которую критики окрестили “социальной интерпретацией”), предложив обновленный акцент на идеях и культурных репрезентациях, их коллеги в поле изучения революции 1917 г. постепенно преодолели антимарксистскую ортодоксию, которая по преимуществу концентрировалась на идеологии и личностях, отвергая социальный или классовый анализ» (Suny 1994: 165). Р. Пайпс возражает ему: хронологически ревизия социальных историков 1917 г. 1960–70-х гг., вероятно, возникла именно под влиянием школы Анналов и группы историков Коммунистической партии Великобритании (Pipes 1993). Работы историков-ревизионистов французской революции, приходящиеся в массе на 1980–90-е гг., стали источником вдохновения «культурного поворота» в изучении русской революции 1917 г., который по причине распада СССР прошел несколько позже.

Ревизия Ф. Фюре (Фюре 1998) заключалась в том, что в качестве основного конфликта Французской революции он указал на культурно-политическую борьбу за осмысление происходящего, конфликт между традиционными либералами и эгалитаристами, последователями Руссо. Фюре и его последователи вышли за рамки демографических, экономических и социальных структур, центральных для школы Анналов, на базе идей структурной лингвистики и семиотики Соссюра и затем французского постструктурализма М. Фуко, идей новых левых и феминизма с целью подчеркнуть роль идей, систем убеждений, политического языка и способов речи. Революция предстала не как борьба за власть и не как классовая борьба, а как борьба за идентичность (повседневная культурная политика): исследование символов и церемоний (Agulhon 1981; Озуф 2003), политической культуры (Hunt 1984) и символической власти женщин (Landes 1988). Социальные практики революции, неотделимые от политических, стали рассматриваться в качестве культурных систем, «паути́н смысла», текстов, направляемых лишь внутренней логикой, значениями и дискурсами.

Применительно к исследованиям революции 1917 г. необходимо показать, почему для возникновения «культурного поворота» была необходима ревизия социальных историков. Вопреки открытиям герменевтики и интерпретативной социологии, сделанным еще до революции 1917 г., право ее рядовых участников на собственные смыслы, отличные от идеологий лидеров

революции и их противников, еще требовалось доказать. Необходимо было показать, что люди 1917 г. были не политическими марионетками, а достаточно хорошо осведомленными авторами, или что они были убеждены в своей осведомленности, хотя ее источники могли быть самыми разными.

Вопреки различным подходам к интерпретации Русской революции 1917 г., сложившимся в западной науке с самых первых лет после нее (подр. см. Suny 2017), в эпоху «холодной войны» там возобладали и стали ортодоксальными взгляды либеральных политических историков (см. напр. Малиа 1985; Пайпс 2005), исходивших из следующих положений: 1) поздний царский режим хотя и был несколько ослаблен внутренними конфликтами, демонстрировал стремительный прогресс в политической и экономической сферах; его коллапс был вызван последствиями перенапряжения во время Первой мировой войны; 2) несмотря на свои благие намерения, демократическая интеллигенция, которая пришла к власти в феврале 1917 г., не смогла управлять страной, а лишь усилила анархию; 3) большевики, наиболее организованная и решительная партия, выиграли от этой анархии, дезорганизовавшей остальных, и опрокинули Временное правительство; вскоре после *переворота* они заложили основы для однопартийной диктатуры.

До 1960–70-х гг. западная политическая история рассматривала 1917 г. в качестве трагичного отката от общего пути либерализации, на который вслед за другими западными обществами с опозданием вступил и царский режим. В центре внимания были политические факторы, поскольку считалось, что царский режим и затем Временное правительство были свергнуты преимущественно по политическим причинам. Октябрь 1917 г. рассматривался как конфликт «профессионалов политики», конфликт элит, в котором большевики одержали победу не потому, что пользовались большей поддержкой «народа», «масс» (и даже рабочих), а поскольку были лучше организованы и умело ими манипулировали. Тактически большевики эксплуатировали лозунги других левых партий: синдикалистский лозунг о рабочем контроле, эсеровские лозунги о перераспределении земли и националистические лозунги самоопределения, чтобы привлечь соответствующие группы, тогда как стратегически, полагает Р. Пайпс, Ленин не верил в народную революцию, не видел себя орудием в руках народа. «Массы» были конструктором революционных интеллектуалов, которые манипулировали недовольством реальных людей, не находящим политического выхода при отсутствии демократических политических институтов. В дальнейшем большевики легитимировали свою власть мифом о том, что революция была массовой, тогда как с реальными организованными политическими и социальными группами (в том числе с рабочим классом) велась борьба.

Начиная с оттепели 1960-х гг. социальные историки-ревизионисты революции 1917 г., многие из которых посетили СССР по обмену, стали пере-

смагивать господствующую либерально-ортодоксальную интерпретацию революции с ее акцентом на идеологии, исторических личностях и их политических интригах, и стали рассматривать революцию как борьбу между социальными классами (см. напр. Haimson 1964; 1965; Suny 1972; Rosenberg 1977; Koenker 1981). Они полагали, что: 1) крушение царского режима было вызвано не столько Первой мировой войной, поскольку к ее началу он уже был фатально ослаблен социальной поляризацией и производными от нее конфликтами и беспорядками, уходящими корнями в 1905 г.; 2) Октябрьская революция 1917 г. была не переворотом, а массовым восстанием, в ходе которого большевики скорее следовали массам, чем возглавляли их; 3) однопартийная диктатура, которая возникла впоследствии, была не естественным следствием идеологии или политических практик большевиков, а вынужденным отклонением, вызванным событиями, не подвластными им.

Первый тезис был выдвинут Л. Хаймсоном (Haimson 1964; 1965) на основе анализа статистики забастовочного движения в крупных городах до Первой мировой войны и накануне революции. Хаймсон показывает, что двойная поляризация: раскол между консерваторами и абсолютистской бюрократией с одной стороны и между рабочим классом и либеральной интеллигенцией с другой, существовала еще до войны. Автором второго тезиса считается Р.Г. Суни (Suny 1983), утверждающий, что все историки, которые отрицают тот самоочевидный факт, что Октябрьская революция была социальной, находятся под влиянием своих политических, а не научных мотивов. Суни обернул критику Фюре против политических историков, обвинив их в том, что они остаются в дискурсе «холодной войны», на что получил ответное обвинение, что ревизионисты поддерживают советскую партийную историю, которая использовалась большевиками для обоснования их легитимности. Более предметно линия раскола между либеральными историками и ревизионистами проходит вокруг интерпретации апрельского и июльского кризисов: были ли они спланированной большевиками проверкой сил или стихийными выступлениями рядовых активистов в результате раскола не только в обществе, но и в партии. Весомые фактические доказательства в пользу последнего приводит А. Рабинович (1989). Единственным историком, который даже в апрельском кризисе усматривает политические трюки большевиков, является Пайпс.

Таким образом, ревизионисты указали на глубокую поляризацию российского общества, а также самой партии большевиков. Рабочие были не просто марионетками в руках радикальных интеллектуалов, но артикулировали и защищали свое собственное понимание самоуправления и справедливости на фабричном уровне, аналогичным образом солдаты, в большинстве крестьянского происхождения, развили собственное представление о том, за что они стали бы сражаться. Большевики были внимательнее к тре-

бованиям масс и более убедительно артикулировали нарративы, созвучные этим требованиям, в результате чего к октябрю получили их подавляющую поддержку, которой лишились остальные социалисты.

Но как объяснить, почему низовая революция внезапно обернулась однопартийной диктатурой? Ревизионисты делают это в терминах разрыва. Например, отказываются считать правительство Ленина диктаторским, в отличие от Сталина (Tucker 1977), или же указывают на опыт гражданской войны в милитаризации политической культуры большевиков, которая впоследствии была видна во всем (Fitzpatrick 2008), или приводят иные, внешние по отношению к большевикам, кризисы, которые ожесточили их. М. Малиа полагает, что ревизионисты заблуждаются. Историки, считающие октябрь 1917 г. революцией снизу, задаются вопросом, когда и почему все пошло с перекосом, но они упускают, что этот вопрос может не иметь смысла, если это с самого начала не было народное восстание (Malia 1991).

Культурный поворот в изучении революции 1917 г. существует в двух разновидностях, которые в терминах Дж. Александера и Ф. Смита (Александр, Смит 2010) можно назвать «слабой» и «сильной программой» и которые различаются прежде всего степенью автономии культуры в объяснении событий революции 1917 г. Вчерашние социальные историки-ревизионисты, вслед за Э.П. Томпсоном и М. Фуко, рассматривают культуру как слитую воедино с политикой (классовой борьбой), т. е. как относительно автономную. Интерпретации слабой программы культурного поворота в терминах К. Гирца (Гирц 2004) являются «ненасыщенными».

Хорошим примером переходной работы между социальной историей и культурным поворотом выступает статья Д. Кoenкер (Koenker 1978), посвященная трансформации партийного сознания московских рабочих с февраля через апрельский, июньский кризисы и Корниловский мятеж до октября. С одной стороны, это количественная социальная история — анализ влияния социально-демографических факторов (отрасль, квалификация, участие в профсоюзе, пол, возраст, грамотность, место проживания и т. д.) на распределение голосов рабочих на выборах в городскую думу и советы. С другой — распределение голосов рассматривалось в качестве индикатора развития партийного сознания и политической культуры рабочих под воздействием не только структурных, но и автономных культурных детерминант.

Весной 1917 г. отсутствие четких границ между партиями в сознании рабочего объясняется рядом причин: плюралистическая атмосфера; политические партии перестали быть единственными борцами за революцию; секторальная борьба рассматривалась как разрушительная для новых революционных институтов; низкий уровень осведомленности о партийных различиях. Дилемма работницы Филипповой: «Эсеры говорят хорошо,

меньшевики говорят хорошо, большевики говорят хорошо, но кто из них прав, мы не знаем» (Koenker 1978: 41) разрешилась в ходе упомянутых кризисов, способствующих переходу от голосования за знакомого харизматичного оратора, коллективного голосования профсоюзом по примеру его главы к более осознанному голосованию за партийную программу. Сначала простое послание эсеров о перераспределении земли было популярнее, особенно среди рабочих-мигрантов крестьянского происхождения. Космополитический пацифизм большевиков был не столь очевиден. Апрельский кризис несколько изменил ситуацию. Куда сильнее росту партийной идентичности рабочих поспособствовали Июльские дни. Репрессии Временного правительства против большевиков, спровоцированные выступлениями в Петрограде, вызвали сочувствие к ним и идентификацию с ними, которые, судя по росту численности партийной ячейки в Москве, оказались сильнее обвинений буржуазной прессы в том, что большевики — немецкие шпионы. Превращение Временного правительства в сознании рабочих из «их» в «буржуазное» довершил Корниловский мятеж.

Успех эсеров и личную популярность Керенского обрушили не только в Июльские дни. Летом рабочие-мигранты отправились домой на сельскохозяйственные работы и воочию убедились, что лозунги эсеров о перераспределении не воплощали в жизнь. Кроме того, под воздействием промежуточных электоральных побед эсеры допустили ошибку, перестав бороться за партийную идентификацию рабочих, большевики же, напротив, много работали на низовом уровне, шаг за шагом завоеывая доверие. Тем не менее, даже после октября по-прежнему было еще далеко до того, чтобы только одна партия идентифицировалась в сознании рабочих с революцией, доказательством тому — слова лидеров профсоюза металлургов, всегда коллективно голосовавшего за большевиков: «Мы за советскую власть, но против власти одной партии» (Koenker 1978: 61).

В своей более поздней статье, посвященной роли статей «рабкоров» в легитимации НЭПа и образа «красных директоров», Коенкер (Koenker 1996) куда ближе к «сильной программе» культурного поворота. Она делает акцент на чувстве негодования, поднявшемся среди корреспондентов в связи со слишком мягким приговором по делу об убийстве их коллеги после статьи, обличающей «красного директора». Коенкер подчеркивает множественность голосов, участвующих в оформлении образа «красных директоров», различную лексику и метафорику в рамках конкурса, объявленного «Правдой» на статью о лучшем и худшем директоре. Формирование этого образа происходило не столько под влиянием глубокого понимания профессиональными журналистами и простыми рабочими всей неоднозначности социального положения «красных директоров», сколько под влиянием личного опыта, социальных представлений и идентичностей участников

дискуссии. В результате в редакцию «Правды» поступали статьи, описывающие одного и того же директора в противоположных оценках — как лучшего и как худшего. Коенкер также демонстрирует скрытые мотивы авторов статей: желание выиграть приз от издательства, страх преследования, выражающийся в вымышленном имени и замалчивании, рационализации по отношению к образу хорошего директора, в заискивании перед высокопоставленными читателями и т. д. В итоге Коенкер демонстрирует, что саморепрезентация «рабкоров» была никак не менее однозначной, чем образ «красных директоров», который они создавали. Фактически дискуссия о «хороших» и «плохих» директорах была лишь уменьшенной версией общего морально-коммуникативного дискурса в противоречивой системе смысловых координат НЭПа.

Другими примерами «слабой программы» культурного поворота служат работы Д. Мэндел, А. Вайлдмана, Р.Г. Суни и др. Для «слабой программы» культурного поворота в исследованиях революции 1917 г. основной проблемой выступает символическая борьба как продолжение классовой борьбы, в ходе которой оформляется идентичность. В этом варианте культурный поворот выступает скорее развитием, чем ревизией социальной истории. Во многом слабая программа выступает развитием научно-исследовательской программы Э.П. Томпсона. «...Классовое сознание — это тот способ, каким опыт схвачен в культурных терминах, воплощенных в традициях, системах ценностей, идеях и институциональных формах. Если опыт возникает как детерминированный, то классовое сознание таким не является...» (Thompson 1963: 9–10). В конце 1980-х и начале 1990-х гг. такие исследователи, как У. Сьюэлл и Дж. Скотт, выступили за «постматериальный подход» (Sewell 1993) в социальной истории (т. е. за большую автономию культуры по сравнению с подходом Томпсона), постулируя примат лингвистических и смысловых условий оформления опыта над материальными. «Опыт не должен рассматриваться как объективное условие, которое конструирует идентичность; идентичность не является объективацией чувства собственного социального я, определяемого потребностями и интересами. Политика не является процессом обретения коллективного сознания занимающими схожее материальное положение индивидуальными субъектами. Политика скорее является процессом, посредством которого игры власти и знания конституируют идентичность и опыт» (Scott 1988: 5).

Ключевые характеристики «слабой программы» культурного поворота в исследованиях революции 1917 г. находим у Суни (Suni 2017: 29–34):

1) Социальные структуры являются историческими конструктами человеческих действий, их отличает историчность и рекурсивность. Социальные категории и идентичности (класс, нация, гендер) больше не принимаются в качестве само собой разумеющихся, напротив, подчеркивается их

текучесть, множественность, фрагментированность, поддержание их устойчивости требует постоянных усилий. Исторический субъект символической политики не является стабильным, рациональным, суверенным.

2) Культура частично автономна: с одной стороны, она является системой символов, обладающих внутренней когерентностью, с другой — она поле борьбы, тесно связанное с политикой, через которую смыслы оспариваются и меняются. Понимание, которое дает культура, всегда контекстуально, поэтому история никогда просто не переживается, но всегда также и создается.

3) Внимание к метанарративам, проблематизирующее не их истинность или ложность, а их восприятие современниками в качестве таковых и реакцию на это. Все научные описания рассматриваются «культурным поворотом» как сконструированные нарративы, с выбранными фактами, замалчиванием, подверженные контекстуальному влиянию идей, места и времени, как отказ культурного поворота от претензий на объективность.

Второе направление культурного поворота в исследованиях революции 1917 г., «сильная программа», может рассматриваться в качестве полноценной ревизии социальной истории 1917 г., направленной против чрезмерного детерминизма классовых объяснений и чрезмерно активной и рациональной концепции человеческой агентности. «Сильная программа» культурного поворота испытала на себе большее влияние антропологии и особенно интерпретативной антропологии К. Гирца. Она близка, но не тождественна лингвистическому повороту в исследованиях революции 1917 г. Из этой перспективы основной проблемой выступает не символическая политика, а сам переживаемый современниками опыт революции 1917 г., который осмысливается и частично выражается в языке лишь благодаря контексту уже существующих культурных структур и дискурсов. Речь о своего рода исторической феноменологии революции 1917 г., попытке избегая презентизма и собственных смыслов историка — добраться до смысла современников 1917 г. Понять, как переживалась революция 1917 г., значит понять, что она означала для современников, и какие культурные структуры или дискурсы того времени и места способствовали тому, что она переживалась именно так, а не иначе. Проиллюстрируем сказанное на основе анализа подходов «сильной программы», в особенности подхода М. Стейнберга.

Подход М. Стейнберга не нарративный, а интерпретативный, он также ставит перед собой цель сравнения упорядоченного нарратива профессиональных историков («Erfahrung», в терминах В. Беньямина) и переживаемого опыта современников («Erlebnis»), противоречивого, неупорядоченного и эмоционального. Стейнберг занимается распутыванием «паутины смыслов» революции 1917 г. и построением ее ментальной карты, используя множество довольно нетрадиционных для истории источников, фиксирующих

голоса современников: газетные статьи, письма в газеты, слоганы, фотографии, плакаты, письма и мемуары интеллектуалов, поэзию Серебряного века и рабочую поэзию, жалобы, петиции и т. п.

Вслед за К. Гирцем М. Стейнберг принимает положение о том, что опыт или «данные» уже являются интерпретацией, поэтому современные знания о прошлом и его интерпретации с неизбежностью оформляются под воздействием знаний и интерпретаций прошлого о самом себе. В рамках критики источника историка всегда стремятся остерегаться влияния интерпретаций авторов источника. В данном случае цель обратная. Стейнберг обращается к сравнению нарративов журналистов-современников революции 1917 г. с нарративами профессиональных историков, поскольку и то, и другое — «интерпретации интерпретаций».

Центральными нозмами, вокруг которых вращаются приводимые Стейнбергом слова современников революции 1917 г.: личность как субъект истории и как ценность, неравенство, справедливости и несправедливости, власть и сопротивление ей, насилие во благо или во зло и самое главное — свобода. Описывая различные этапы, пространства и смысловые срезы революции 1917 г., М. Стейнберг приводит множество свидетельств современников, передающих их состояние, переживаемый опыт и более или менее искренние попытки понять происходящее и свое место в нем. Читателю предоставляется возможность самому соединить контекст с текстом и попытаться вжиться в происходящее. При этом модальность контекста и текста могут легко не совпадать.

Например, ситуация накануне Февральской революции, во время и некоторое время после нее интерпретируется в терминах «весны свободы». Сезонная метафора передает ощущение окончания долгой и суровой зимы, реальное обновление в противоположность всепроникающему чувству отсутствия обновления вопреки недавно отпразднованному Новому году. Этим ощущением пропитаны газеты всего политического спектра, письма и стихи рабочих в газеты, плакаты, фотографии, лозунги демонстрантов и произведения искусства и литературы. Отречение Николая II вызывало понимание свободы как настойчивого убеждения в том, что люди способны играть роль в истории (творить историю). Это чувство было очень созвучно тому, которое переживалось в 1905 г., но оно оказалось обманутым. Для Стейнберга также крайне важно показать огромную роль православия в оформлении и интерпретации современниками любого переживаемого тогда опыта (Steinberg 1994). Например, в сильнейшем ощущении перерождения сливаются воскресение Христа, Пасха и воскресение России, прошедшей через муки Первой мировой войны.

Состояние между 1905 г. и февралем 1917 г. интерпретируется Стейнбергом (Steinberg 2008) через метафору «меланхолии», как ощущение глубокого

непонимания происходящего, утраты веры в прогресс, предвосхищения модерна вперемешку с ностальгией по утраченному, ощущением болезненности, безвременья, пессимизма, отчаянья. В феврале и марте 1917 г., напротив, были слышны надежда и радость. Естественные права и потребности пополнили народное понимание свободы. С другой стороны, философы, поэты и писатели Серебряного века все чаще выражают справедливое беспокойство тем, что низы воспринимают свободу как освобождение от всего ограничивающего, без необходимого признания ответственности. «Разумеется, — в два месяца не переродишься... Мы живем в буре политических эмоций, в хаосе борьбы за власть, эта борьба возбуждает рядом с хорошими чувствами темные инстинкты», — писал М. Горький (Горький 1990: 17–18).

Основной темой ментальной ситуации между февралем и октябрём является отсутствие единства, последовательности, какофония слов. Нарастают расхождения в понимании свободы. Отсутствие общей и исправно работающей культурной системы координат усугубляется кризисами этого периода. Б. Колоницкий метко описал произошедшее изменение в настроениях — от «квазирелигиозного» восторга и эйфории февральских дней до «политического уныния и разочарования» к лету 1917 г. (Колоницкий 1994; 2001). Градус слов накаляется, звучит все меньше надежд и радости, все больше обвинений, требований и оскорблений. Наряду со «свободой» центральное место занимает слово и идея «власти» и, наоборот, «анархия» и «насилие».

Сложившееся двоевластие между Временным правительством и Советами, граничащее в народном понимании с анархией, наряду с ростом недовольств привели к росту беспорядков, неуправляемому насилию и превращению «улицы» в центральное место и символ политического. Само слово «временное» в названии Временного правительства лишало его легитимности в глазах современников. Низы требовали передачи всей власти Советам, но на практике едва ли понимали, как это сделать, Советы не хотели брать власть, видя себя лишь гарантом сбора Учредительного собрания. Сложившаяся патовую ситуацию отражает знаменитый угрожающий возглас демонстранта, брошенный эсеру В.М. Чернову: «Принимай, сукин сын, власть, коли дают!» (Steinberg 2017: 75)

Помимо физического места публичного действия «улица» была символом «толпы», «удовольствия» и «насилия» — все это вышло из-под всякого контроля. Улица противоречивым образом символизировала патологии городской жизни, работу в тяжелых условиях и нужду, делающих человека «маленьким», и вместе с тем она была символом чего-то неизведанного, экстраординарного, возможности порвать с ежедневной рутинной, запретного (зачастую сексуального) удовольствия. Улицы утопали в разврате, «превраща-

щая Россию в Содом». Улицы захватило хулиганство, которое было не просто бессмысленным насилием или следствием садистских наклонностей, а безмолвной политической борьбой того, кто имеет право на улицу. Уличное поведение было частью «символической революции»: уличные шествия к центру буквально демонстрировали, что улицы, т. е. власть над ними, принадлежат повстанцам (Figes, Kolonitskii 1999). Для одних это была «анархия» и «хаос», а для других «демократия» и «свобода». Во время апрельского кризиса А. Керенский восклицает: «У меня нет прежней уверенности, что перед нами не взбунтовавшиеся рабы, а сознательные граждане, творящие новое государство». Июньские дни и Корниловский мятеж усугубляют раскол, взаимные обвинения и усложняют понимание.

Подавление Корниловского мятежа в сентябре усугубляет раскол среди левых партий в вопросе о сотрудничестве с кадетами. Впервые получив большинство в обоих столичных советах, Ленин отказывается от коллаборационизма, заявляя: «История нам не простит, если мы не возьмем власти теперь». Октябрьские события провоцирует инцидент с попыткой силового закрытия газеты «Рабочий путь» Временным правительством. Но уже в декабре захватившие власть большевики «Декретом о печати» следуют примеру Временного правительства, закрывая буржуазные и либеральные газеты.

Период после октября 1917 г. и до 1921 г. интерпретируется через действия большевиков по борьбе с плюрализмом в интерпретации происходящего, в которой удается победить ценой глубокой травмы и отчуждения народа. Причиной победы большевиков также стала неуспешность суггестивного нарратива белых во время Гражданской войны, предлагавшего восстановить старый порядок, следуя прежнему имперскому идеалу, что отвергало притязания не-русских националистов, которые были ключевой силой на периферии и лояльностью которых воспользовались большевики. Крестьяне открыто не поддерживали ни одну из сторон, поскольку и те, и другие их обирали, но большевики, по крайней мере гипотетически, закрепляли их захват земли. При этом Гражданская война оставалась героическим периодом Русской революции: насилие воспринималось как финальная борьба против насилия вообще.

Символическим апофеозом стало обращение восставших моряков Кронштадта, олицетворявших, по словам Троцкого, «гордость и славу Русской революции», теперь требовавших окончания однопартийного правления, восстановления свободы слова и печати, сбора учредительного собрания, передачи всей власти свободно избранным советам. Широкая популярность лозунгов тех лет: «Долой комиссариаты!», «Власть Советам, а не партиям!» подтверждалась крестьянскими восстаниями и возникновением внутренней оппозиции в большевистской партии. Ситуацию резюмировали

слова А. Шляпникова, обращенные к Ленину на XI съезде партии 1922 г.: «Разрешите поздравить Вас, Вы являетесь авангардом несуществующего класса». Возобладавшем в итоге общенародным пониманием свободы стало негативное понимание: «Оставьте наконец нас в покое! Не надо больше ничего, ни войны, ни мира, ни радости, ни отчаянья, ни тем более вашей чертовой политики» (Steinberg 2017: 356).

Центральным предметом культурной истории последующего периода выступает то, как большевики, оказавшиеся у власти, но вновь в изоляции, что подчеркивается многими письмами и мемуарами, пытались найти общий язык для мобилизации народной энергии. М. Горхам (Gorham 1996) исследует трансформацию способов публичной речи в условиях государственного строительства: с октября до окончания Гражданской войны в публичной речи преобладало харизматическое убеждение, в период 1922–1927 гг. произошло смещение фокуса на народную организацию (в терминах концепции «рутинизации харизмы» Вебера), третьей моделью стал институционализированный жаргон советского однопартийного государства, который сформировался вместе с так называемой культурной революцией и первым пятилетним планом (здесь Горхам обращается к концепции лингвистического капитала Бурдьё). Смена способов публичной речи отражала меняющуюся роль языка в формировании и легитимации власти.

М. Горхам (Gorham 2000) также демонстрирует роль программы по очищению языка в борьбе за преодоление коммуникативного разрыва между формирующимся государством и в большинстве крестьянскими массами. Одним из источников загрязнения языка был утопический дух инновации революционеров, выразившийся в словотворчестве: неологизмы, акронимы, сокращения, марксистская терминология, заимствованная из других языков. В описании восприятия крестьянами этого языка как чуждого Горхам практически воспроизводит постулаты теории «эпохалистских» и «эссенционалистских» языков Гирца (Гирц 2004: 222–242).

Дж. Фон Гелдерн (von Geldern 1993) исследует массовые праздники времен Гражданской войны не столько как перформативные ритуалы, сколько как средства коммуникации между большевиками и массами. Большевики во время Гражданской войны не жалели своих скудных средств на то, чтобы запечатлеть в народной памяти героизм революционных событий. Однако постановкой праздников занимались не партийные кадры, а актеры и профессиональные продюсеры, происхождение которых накладывало ограничения на полный разрыв с прошлым. Новый социалистический миф основания, объединяющий людей, новые символы должны были быть сконструированы и поставлены на сцене так, чтобы резонировать со старыми смыслами. По причине коммуникационного и культурного разрыва между большевиками, постановщиками и зрителями простая ритуальная форма

была неприменима. В процессе переработки старых форм — театров и кабаре, а также цирковых и ярмарочных представлений, шел активный поиск новых форм и жанров.

Успешным оказался сдвиг от ритуала к драматизации (исторической постановке). Каждое зрелище представляло новое понимание революционного прошлого, которое предлагало новые потребности в настоящем и новые пути в будущее. Историческая драма обращалась к прошлому не ради него самого, а ради актуального сообщения для настоящего. На смену реальному отбрасыванию прошлого пришло символическое, превращавшее узнаваемое отброшенное в средство легитимации происхождения большевиков. Предками большевиков в этих драмах выступал не столько Маркс и прочие более соответствующие исторические деятели, сколько народные герои: Спартак, французские революционеры, мятежные казаки Степан Разин и Емельян Пугачев, Парижская Коммуна, даже декабристы (подр. см. Мартыненко 2017).

М. Стейнберг выделил общие черты, сформировавшие «сильную программу» культурного поворота в исследованиях революции 1917 г.:

1) «Повышение внимания к возможностям небольших нарративов и отдельных голосов, раскрывающих смыслы, казавшиеся маргинальными». Это позволяет избежать чрезмерно широких обобщений, увидеть расколы и конфликты внутри социальных групп, услышать альтернативные нарративы и голоса, истории и перспективы забытых субъектов.

2) «Реконструкция исторических смыслов, которая уделяет первостепенное внимание влиянию языка, образов, символов, мифов, этики, а также того, как другие структуры обозначения и субъективной оценки оформляли понимание и действия людей». Такая перспектива подчеркивает автономную роль языка и культуры в оформлении опыта, а также расширяет спектр используемых источников.

3) «Критическая культурная теория: критический подход к текстам, выявляющий замалчивание, множественность и противоречивость смыслов, парадоксы, амбивалентность и двусмысленность» (Steinberg 1996: 348–351). Культурная история направлена против исконного позитивистского допущения об упорядоченности и стабильности смысла как такового, а применительно к истории — против допущения о когерентной логике исторического процесса и исторического опыта. Многоголосица, парадоксальная и неустойчивая структура смысла, вскрываемые культурным поворотом, выступают следствием не интерпретативной неряшливости, а напротив, интерпретативной зрелости, чувствительной к отражаемой интеллектуальной и психологической сложности революции 1917 г.

В заключение, сравнивая между собой «слабую» и «сильную программу» культурного поворота в исследованиях революции 1917 г., необходимо

отметить их сильные и слабые стороны. Обращение к «паутине смыслов» и дискурсов, без сомнения, представляет большой шаг вперед, без которого политическая, равно как и социальная история рискуют превратиться в презентизм. С другой стороны, в этой паутине смыслов, многоголосице легко утратить общий смысл исторического события (если, конечно, такой вообще существовал). Интерпретативной традиции с самого ее возникновения присуща проблема с обобщениями, и в этом смысле отказ культурного поворота от попыток предложить новую целостную интерпретацию революции 1917 г. вызывает сожаление. Это же обстоятельство подталкивает историков к более эксплицитному общению к теории ради обобщения широкого круга узких проблем, с которым работает культурный поворот.

Выступая развитием социальной истории, «слабая программа» культурного поворота отличается некоторой идеализацией простых людей, они изображаются слишком сообразительными и активными, их действия вполне рациональны, даже если их смысловые предпосылки такими не являются. «Сильной программе» это не свойственно, она выявляет больше потаенных и иногда более темных смыслов. Однако обращаясь за этими смыслами к нетрадиционным историческим источникам, «сильная программа» куда более склонна уходить в чистый «текстуализм» и превращаться в литературную и этико-эстетическую критику. Но в целом большинство исследователей культурного поворота нельзя обвинить в том, что они не соблюдают требования Гирца не забывать в поисках истинного смысла происходящего о простейших материальных нуждах участников события. Например, Стейнберг (Steinberg 1994), объясняя широкую распространенность в рабочей поэзии образа преждевременной смерти, пишет, что он лишь с одной стороны был вызван автономными дискурсивными и культурными причинами, конструктом, опирающимся на огромный спектр литературных, идеологических и религиозных источников, а с другой — он был отражением суровой повседневной реальности, постоянно угрожающей жизни русской бедноты.

Исследователи культурного поворота отдают себе отчет в невозможности приблизиться к истинному опыту прошлых жизней, однако, в отличие от литературной критики, не считают его полностью непостижимым. И отблески этого опыта, мыслей и чувств прошлого становятся тем ярче, а голоса тем громче, чем сильнее исключают историки свое «я» и привносимые им смыслы, интерпретации и ценности. Как пишет Г. Риккерт: «Если историку удалось бы совершенно заглушить свое собственное «я», не существовало бы больше вообще истории, а только бессмысленная масса просто разнородных фактов, одинаково значительных или одинаково лишенных всякого значения, из которых ни один не представлял бы исторического интереса» (Риккерт 1998: 94). Чем «сильнее» программа культурного поворота, тем

больше риск скатывания к бессмысленной эклектике постмодернизма. Для защиты от этого необходимо отнесение к ценности, но Фюре запрещает использовать для этого ценности, порожденные самой революцией. Не является ли это оценкой? Другим решением, предложенным в сборнике «За пределами Культурного поворота» (Bonnell, Hunt 1999), одним из инициаторов которого выступила известный культурный историк Французской революции Л. Хант, является не отрицание всех достижений культурного поворота, а восстановление значения материального и структурного, т. е. «социального». Интеллектуальные движения «выхода за пределы» («moving beyond») и «возвращения назад к» («bringing (something) back in») начинают парадоксальным образом сливаться.

Литература

- Александр Дж., Смит Ф. (2010) Сильная программа в культурсоциологии. *Социологическое обозрение*, (9)2: 11–30.
- Гирц К. (2004) *Интерпретация культур*. М.: РОССПЭН.
- Горький М. (1990) *Несвоевременные мысли. Рассуждения о революции и культуре, 1917–1918 годы*. М.: МО Союза журналистов СССР.
- Колоницкий Б.И. (1994) Антибуржуазная пропаганда и «антибуржуйское» сознание. Черняев В.Ю. (ред.) *Анатомия революции. 1917 год в России: массы, партии, власть*. СПб.: Глагол: 188–202.
- Колоницкий Б.И. (2001) *Символы и борьба за власть. К изучению политической культуры Российской революции 1917 года*. СПб.: Дмитрий Буланин.
- Малиа М. (1985) *К пониманию русской революции*. L.: Overseas Publications Interchange Ltd.
- Мартыненко Т.С. (2017) Советские праздники как способ конструирования новой социальной идентичности. *Человек в мире культуры. Региональные культурологические исследования*, 2–3: 111–115.
- Озуф М. (2003) *Революционный праздник, 1789–1799*. М.: Языки славянской культуры.
- Пайпс Р. (2005) *Русская революция*. В 3 кн. М.: Захаров.
- Рабинович А. (1989) *Большевики приходят к власти: Революция 1917 года в Петрограде*. М.: Прогресс.
- Риккерт Г. (1998) *Науки о природе и науки о культуре*. М.: Республика.
- Фюре. Ф. (1998) *Постижение Французской революции*. СПб: ИНАПРЕСС.
- Agulhon M. (1981) *Marianne into Battle: Republican Imagery and Symbolism in France*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bonnell V.E., Hunt L. (eds.) (1999) *Beyond the Cultural Turn: New Directions in the Study of Society and Culture*. L.: University of California Press.
- Figs O., Kolonitskii B. (1999) *Interpreting the Russian Revolution: The Language and Symbols of 1917*. New Haven and London: Yale University Press.

Fitzpatrick S. (2008a) Revisionism in Retrospect: A Personal View. *Slavic Review*, 67(3): 682–704.

Fitzpatrick S. (2008b) *The Russian Revolution*, 3d ed. N.Y.: Oxford University Press.

Geldern J. von (1993) *Bolshevik Festivals, 1917–1920*. Berkeley: University of California Press.

Gorham M.S. (1996) From Charisma to Cant: Models of Public Speaking in Early Soviet Russia. *Revue Canadienne des Slavistes*, 38(3/4): 331–355.

Gorham M.S. (2000) Mastering the Perverse: State Building and Language “Purification” in Early Soviet Russia. *Slavic Review*, 59(1): 133–153.

Haimson L. (1964) The Problem of Social Stability in Urban Russia, 1905–1917 (Part One). *Slavic Review*, 23(4): 619–642.

Haimson L. (1965) The Problem of Social Stability in Urban Russia, 1905–1917 (Part Two). *Slavic Review*, 24(1): 1–22.

Hunt L. (1984) *Politics, Culture, and Class in the French Revolution*. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.

Koenker D.P. (1978) The Evolution of Party Consciousness in 1917: The Case of the Moscow Workers. *Soviet Studies*, 30(1): 38–62.

Koenker D.P. (1981) *Moscow Workers and the 1917 Revolution*. Princeton: Princeton University Press.

Koenker D.P. (1996) Factory Tales: Narratives of Industrial Relations in the Transition to Nep. *The Russian Review*, 55(3): 384–411.

Landes J.B. (1988) *Women an Sphere in the Age of the French Revolution*. Ithaca and London: Cornell University Press.

Malia M. (1991) The Hunt for the True October. *Commentary*, 92(4): 21–28.

Mandel M.D. (1983) *The Petrograd Workers and the Fall of the Old Regime*. N.Y.

Pipes R. (1993) 1917 and the Revisionists. *The National Interest*, 31: 68–79.

Rosenberg W.G. (1977) Workers’ Control on the Railroads and Some Suggestions Concerning Social Aspects of Labor Politics in the Russian Revolution. *Journal of Modern History*, 49(2): 1181–219.

Scott J.W. (1988) *Gender and Politics of History*. N.Y.: Columbia University Press.

Sewell W.H., Jr. (1993) Toward a Post-Materialist Rhetoric for Labor History. Leonard R. (eds.) *Rethinking Labor History: Essays on Discourse and Class Analysis*. Berlanstein: University of Illinois Press: 15–38.

Steinberg M.D. (1994) Workers on the Cross: Religious Imagination in the Writings of Russian Workers, 1910–1924. *The Russian Review*, 53(2): 213–239.

Steinberg M.D. (1996) Stories and Voices: History and Theory. *The Russian Review*, 55(3): 347–354.

Steinberg M.D. (2008) Melancholy and Modernity: Emotions and Social Life in Russia between the Revolutions. *Journal of Social History*, 41(4): 813–841.

Steinberg M.D. (2017) *The Russian Revolution, 1905–1921*. Oxford University Press.

Suny R.G. (1972) *The Baku Commune, 1917–1918: Class and Nationality in the Russian Revolution*. Princeton: Princeton University Press.

Suny R.G. (1983) Toward a Social History of the October Revolution. *The American Historical Review*, 88(1): 31–52.

Suny R.G. (1994) Revision and Retreat in the Historiography of 1917: Social History and Its Critics. *The Russian Review*, 53(2): 165–182.

Suny R.G. (2017) *Red Flag Unfurled. History, Historians and the Russian Revolution*. L.: Verso.

Thompson E.P. (1963) *The Making of the English Working Class*. L.: Victor Gollancz.

Tucker R.C. (1977) Stalinism as Revolution from Above, in: Tucker (ed.), *Stalinism: Essays in Historical Interpretation*. N.Y.: Norton.

Uldricks T.J. (1975) Petrograd Revisited: New Views of the Russian Revolution. *The History Teacher*. 8(4): 611–623.

THE CULTURAL TURN IN THE STUDIES OF THE RUSSIAN REVOLUTION

*Dmitry Karasev**

Russian Presidential Academy of National Economy
and Public Administration (RANEPA), Moscow, Russia

Citation: Karasev D. (2017) Kul'turnyy povorot v issledovaniyakh revolyutsii 1917 goda [The cultural turn in the studies of the Russian revolution]. *Zhurnal sotsiologii i sotsialnoy antropologii* [The Journal of Sociology and Social Anthropology], 20(4): 31–50 (in Russian). <https://doi.org/10.31119/jssa.2017.20.4.2>

Abstract. The purpose of the paper is to reveal the origins and essence of the cultural turn in the studies of the Russian revolution. The cultural turn in the studies of Great French Revolution, associated with F. Furet and his followers backed by number of post-structuralist approaches was the first source of cultural turn in Russian revolution's field. Its second source was revisionist or social history of the Russian revolution. It proved that rank-and-file revolutionaries (the “masses”) were not just the objects of manipulation by the Bolsheviks (or their historical construct legitimating its power). They had their own world of meanings, emotions and experience (albeit often expressed in new revolutionary phraseology), which was especially acute during revolutionary crises.

The author distinguishes between the «weak» and the «strong program» of cultural turn in Russian revolution's studies. Its «weak program» develops rather than revises social history of the Russian revolution. It considers the symbolic struggle as offshoot of the class struggle (i.e. the culture is dealt with only as relatively autonomous). The article enumerates the features of the «weak program» based on the cases of Russian revolution's investigations

* E-mail: dk89@mail.ru

by such authors as D. Koenker, R. Suny, etc. The «strong program» of cultural turn in Russian revolution's studies is a full-fledged revision of determinism in social history and its too activist conception of human agency. It is “post materialist” approach postulating self-determinism of the “networks of meaning”. Basing on the cases of Russian revolution's investigations by such authors as M. Steinberg, M. Gorham, J. von Geldern etc., the author reveals close connections between its “strong program” and interpretive anthropology as well as structural linguistics. The problems of phenomenological reduction, double hermeneutics and deconstruction come to the fore. It creates the risk of extreme “textualization” and postmodernism-style disintegration into a multitude of particular actors' meanings without any general sense of the revolution (if any). In the conclusion, there is an attempt of comparative SWOT-analysis of the «weak» and the «strong program» of cultural turn in Russian revolution's studies.

Key words: Russian revolution 1917, cultural turn, revisionism, histoire des mentalités, experience, narrative, interpretation

References

- Agulhon M. (1981) *Marianne into Battle: Republican Imagery and Symbolism in France*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Alexander J., Smit P. (2010) Sil'naja programma v kul'tursociologii [Strong Program in Cultural Sociology]. *Sociologicheskoe obozrenie*, (9)2: 11–30 (in Russian).
- Bonnell V.E., Hunt L. (eds.) (1999) *Beyond the Cultural Turn: New Directions in the Study of Society and Culture*. L.: University of California Press, 1999.
- Figes O., Kolonitskii B. (1999) *Interpreting the Russian Revolution: The Language and Symbols of 1917*. New Haven and London: Yale University Press.
- Fitzpatrick S. (2008) Revisionism in Retrospect: A Personal View. *Slavic Review*, 67(3): 682–704.
- Fitzpatrick S. (2008) *The Russian Revolution*, 3d ed. N.Y.: Oxford University Press.
- Furet F. (1998) *Postizhenie Francuzskoj revoljucii* [Interpreting the French Revolution]. SPb: INAPRESS (in Russian).
- Geertz K. (2004) *Interpretacija kul'tur* [The Interpretation of Cultures: Selected Essays]. M.: ROSSPEN (in Russian).
- Geldern J. von (1993) *Bolshevik Festivals, 1917–1920*. Berkeley: University of California Press.
- Gorham M.S. (1996) From Charisma to Cant: Models of Public Speaking in Early Soviet Russia. *Revue Canadienne des Slavistes*, 38(3/4): 331–355.
- Gorham M.S. (2000) Mastering the Perverse: State Building and Language “Purification” in Early Soviet Russia. *Slavic Review*, 59(1): 133–153.
- Gorky M. (1990) *Nesvoevremennye mysli. Rassuzhdenija o revoljucii i kul'ture, 1917–1918 gody*. M.: MO Sojuza zhurnal'istov SSSR (in Russian).
- Haimson L. (1964) The Problem of Social Stability in Urban Russia, 1905–1917 (Part One). *Slavic Review*, 23(4): 619–642.
- Haimson L. (1965) The Problem of Social Stability in Urban Russia, 1905–1917 (Part Two). *Slavic Review*, 24(1): 1–22.
- Hunt L. (1984) *Politics, Culture, and Class in the French Revolution*. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.

Koenker D.P. (1978) The Evolution of Party Consciousness in 1917: The Case of the Moscow Workers. *Soviet Studies*, 30(1): 38–62.

Koenker D.P. (1981) *Moscow Workers and the 1917 Revolution*. Princeton: Princeton University Press.

Koenker D.P. (1996) Factory Tales: Narratives of Industrial Relations in the Transition to Nep. *The Russian Review*, 55(3): 384–411.

Kolonitsky B.I. (1994) Antiburzhuaznaja propaganda i «antiburzhujское» soznanie [Anti-bourgeois propaganda and “anti-bourgeois” consciousness]. In: Chernyaev V.Y. (ed.) *Anatomija revoljucii. 1917 god v Rossii: massy, partii, vlast'* [The Anatomy of the Revolution. 1917 in Russia: the masses, parties, power]. SPb. Glagol: 188–202 (in Russian).

Kolonitsky B.I. (2001) *Simvoly i bor'ba za vlast'*. *K izucheniju politicheskoy kul'tury Rossijskoj revoljucii 1917 goda* [Symbols and the struggle for power. To the study of the political culture of the Russian Revolution of 1917]. SPb.: Dmitrij Bulanin (in Russian).

Landes J.B. (1988) *Women and the Public Sphere in the Age of the French Revolution*. Ithaca and London: Cornell University Press.

Malia M. (1985) *K ponimaniju russkoj revoljucii* [Towards an understanding of the Russian revolution]. L.: Overseas Publications Interchange Ltd (in Russian).

Malia M. (1991) The Hunt for the True October. *Commentary*, 92(4): 21–28.

Mandel M.D. (1983) *The Petrograd Workers and the Fall of the Old Regime*. N.Y.

Ozouf M. (2003) Revoljucionnyj prazdnik, 1789–1799 [Revolutionary holiday, 1789–1799]. M.: Yazyki slavyanskoj kul'tury (in Russian).

Pipes R. (1993) 1917 and the Revisionists. *The National Interest*, 31: 68–79.

Pipes R. (2005) *Russkaja revoljucija* [The Russian Revolution]. V 3 kn. M.: Zakharov (in Russian).

Rabinowitch A. (1989) *Bol'sheviki prikhodjat k vlasti: Revoljucija 1917 goda v Petrograde* [The Bolsheviks Come to Power: The Revolution of 1917 in Petrograd]. M.: Progress (in Russian).

Rikkert G. (1998) *Nauki o prirode i nauki o kul'ture* [The sciences of nature and the sciences of culture]. M.: Respublika (in Russian).

Rosenberg W.G. (1977) Workers' Control on the Railroads and Some Suggestions Concerning Social Aspects of Labor Politics in the Russian Revolution. *Journal of Modern History*, 49(2): 1181–219.

Scott J.W. (1988) *Gender and Politics of History*. N.Y.: Columbia University Press.

Sewell W.H., Jr. (1993) Toward a Post-Materialist Rhetoric for Labor History. Leonard R. (eds.) *Rethinking Labor History: Essays on Discourse and Class Analysis*. Berlanstein: University of Illinois Press: 15–38.

Steinberg M.D. (1994) Workers on the Cross: Religious Imagination in the Writings of Russian Workers, 1910–1924. *The Russian Review*, 53(2): 213–239.

Steinberg M.D. (1996) Stories and Voices: History and Theory. *The Russian Review*, 55(3): 347–354.

Steinberg M.D. (2008) Melancholy and Modernity: Emotions and Social Life in Russia between the Revolutions. *Journal of Social History*, 41(4): 813–841.

Steinberg M.D. (2017) *The Russian Revolution, 1905–1921*. Oxford University Press.

Suny R.G. (1972) *The Baku Commune, 1917–1918: Class and Nationality in the Russian Revolution*. Princeton: Princeton University Press.

Suny R.G. (1983) Toward a Social History of the October Revolution. *The American Historical Review*, 88(1): 31–52.

Suny R.G. (1994) Revision and Retreat in the Historiography of 1917: Social History and Its Critics. *The Russian Review*, 53(2): 165–182.

Suny R.G. (2017) *Red Flag Unfurled. History, Historians and the Russian Revolution*. L.: Verso.

Thompson E.P. (1963) *The Making of the English Working Class*. L.: Victor Gollancz.

Tucker R.C. (1977) Stalinism as Revolution from Above. In: Tucker (ed.) *Stalinism: Essays in Historical Interpretation*. N.Y.: Norton.

Uldricks T.J. (1975) Petrograd Revisited: New Views of the Russian Revolution. *The History Teacher*, 8(4): 611–623.